

73.01.06

Набоков Владимир

20

№3
(1881)

13
января
2006

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Поэт в России – больше, чем поэт

Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»



Казнимый изгнанием

Владимир НАБОКОВ

1899, Петербург – 1977, Кларанс, Швейцария

Расстрел

Бывают ночи: только лягу, –
в Россию поплывет кровать;
и вот, ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, – и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, –
вот-вот, сейчас, пальнет в меня! –
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания
коснется тиканье часов:
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела –
и весь в черемухе овраг!

20 декабря 1927, Берлин

К России

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен быть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смею.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходитьсь,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
всё, что есть у меня, мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожжащие пятна березы,
сквозь всё то, чем я смолodu жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд,
поздно, поздно, никто не ответит,
и душа никому не простит.

16 сентября 1939, Париж

Ласточка

Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь вон ласточку ту?
И ты отвечала: ещё бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету...
До завтра, навеки, до гроба –
однажды, на старом мосту...

1937

В русском варианте мемуаров Набокова «Другие берега» (1954) есть неожиданная вставка, рассекающая то сбивчивый, то плавный поток раскрепощенной памяти: «Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов, потому что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству». И дальше: «Выговариваю себе право тосковать по экологической нише – в горах Америки моей вздыхать по северной России».

Вот он, примат тоски по родине над политикой. Да и стоит ли вся политика этой тоски! Последняя фраза прозы волшебна выстроилась в пушкинскую строчку, воскрешая потерянную Россию детства, телесно осязаемую, пахнущую душистыми папиросами отца; сосновыми шишками из самоварной трубы; рассыпанными по проселку дымящимися коричневыми яблоками конского навоза, инкрустированными золотыми овсинками; грибами с похухлыми иголками на маслянистых шляпках из лукошка матери...

Любовно сохраненные теплые призраки детства, наверно, самое светлое, что есть в Набокове. Лучшим его соавтором было детство, проходившее в деревенских усадьбах Батова, Рождествено, Выра и, конечно, в петербургском доме на

Большой Морской, рядом с Исаакием.

Блок, а впоследствии Пастернак не терпели телефонов и, насколько могли, избегали того, чтобы дребезжащие ящики, полные суеты внешнего мира, диктовали им свою волю. Но особняк Набоковых был из первых в столице, где появился этот черный металлический идол, немедленно обращенный в рабство волевым голосом отца будущего писателя – Владимира Дмитриевича Набокова. Поскольку в доме было по несколько спален, гостиных и ванных, а также огромная библиотека и даже зал заседаний, то суматошно бренчащие аппараты расплодились повсюду. А одна гостиная была отдана телефонистке, которая при срочном звонке из правительства или редакции кадетской газеты «Речь», издаваемой Набоковым, лихорадочно перевтыкала вилку из гнезда в гнездо в поисках хозяина на бескрайнем пространстве трехэтажного домашнего лабиринта.

Если юного Набокова в Тенишевском училище распекали за «общественное равнодушие», то вот уж в чем нельзя было упрекнуть его отца. В 1905 году он выступил в городской думе с гневной речью о кровавом разгоне мирной демонстрации 9 января. После роспуска Первой Государственной думы присоединил свою подпись к «Выборскому воззванию», за что на 3 месяца угодил в тюрьму «Кресты». В 1917-м стал министром без портфеля во Временном правительстве и едва избежал заключения в Пе-

тропавловскую крепость после октябрьского переворота. Когда, спасаясь, Набоковы перебрались в Крым, он и тут не смог уняться – принял пост министра юстиции в Крымском правительстве. Однако оно продержалось недолго, и в апреле 1919 года вся семья Набоковых бежала из Крыма на греческом суденышке «Надежда». Определив сына в Тринити-колледж в Кембридже, Владимир Дмитриевич в конце концов осел в Берлине и стал соредктором новой газеты «Рул», опять же кадетской, успев напечатать ранние литературные опыты сына.

В марте 1922 года старший Набоков погиб, бросившись на террориста, стрелявшего в лидера другого крыла кадетской партии П.Н. Миллюкова. Набоков-сын потерял отца, а история России своего потенциального мемуариста.

Описывая дом на Морской, я упустил весьма существенную деталь: голландскую печь с изразцами, расписанными дразняще яркими бабочками. Изразцовая печь – самый вероятный повод к тому, что маленький Володя был околдован неподражаемой красотой их нежнейших крыльев и тайной, скрытой в их неразгаданных человеком душах. Княгиня Зинаида Шаховская считала, что проза Набокова – это, в сущности, литературная энтомология: «Замечая всех и вся, он был готов это приколоть, как бабочку своих коллекций: не только шаблонное, пошловое, уродливое, но также и прекрасное – хотя замечалось, что нелепое давало ему большее наслаждение».

Впоследствии, охотясь за настоящими бабочками, он задыхался, заносил над ними кисейную рампетку, а затем, священнодействуя и богохульствуя, прикалывал их к велемной бумаге и превращал страницы прозы в гурманское меню из крошечных летающих красавиц. Это было искушение воздухом, где перед хищно замирающим сачком, чуть вздрагивающим от страсти, летали десятки крошечных лолит, возбуждая воображение и не насыщая обладанием, неизбежно связанным с обессмертиванием смертью. Та Лолита, которая принесла ему всемирную славу, просто-напросто была его самой большой бабочкой. Возраст, беременность были ее льинкой, перешедшей в смерть.

Но он успел опутать соблазнительницу цепкой кисеей своего жадного сачка и, пронзив иглой, распял на миллионах разноязыких страниц перед бесстыдно любопытными глазами человечества, которое под ханжеством прячет темные звериные инстинкты. Так упивался своей лицемерной непогрешимостью назначенный общественным следователем моралист-республиканец, не умея спрятать в глазах оргазмические искорки садистского удовольствия от унижения американского президента, попавшегося-таки на подложной ему телке с хоккейными наколенниками, чтобы не было дело делать то, что ее просят.

Помимо того, что Набоков был энтомологом, он был еще и выдающимся составителем шахматных



этидов. Как шахматист он блестяще продумал стратегию проведения «Лолиты» в ферзи, сделав ставку на скандал и прорвавшись в чужой язык, а как энтомолог накинул кисею своей рампетки на всю поверхность земного шара.

В моем раннем наброске к портрету Набокова были две фразы, которые я рискну повторить сейчас: «Стиль Набокова блистателен, может быть, слишком блистателен, как блещут хирургические инструменты на прохладном мраморном столике в операционной. В его творчестве есть нечто от садов Семирамиды, чьи корни питаются не родной почвой, а самим воздухом, у которого нет родины». Э нет, я тут слишком далеко зашел...

Он настойчиво повторял, что его не интересует ни то, что происходит в России, ни то, вернутся ли его книги на родину. Но если ему на самом деле было на это наплевать, зачем же он тогда проделал гигантский труд, переведя «Лолиту» на русский?

Да, он просчитал, как расшевелить читателей и заставить их покупать эту книгу, но в ней есть страницы, которые не могли быть написаны без истинного вдохновения. Было ли это только самолюбие, когда он создал четырехтомный подстрочник «Евгения Онегина» с бесценными комментариями? Или сделал единственный стоящий перевод «Моцарта и Сальери»? Или переложил на английский «Слово о

полку Игореве»? Георгий Адамович восхищался его стихотворением «К России», начинающимся гениальной, вытягивающей душу строкой: «Отвяжись, я тебя умоляю!» А потрясающее по отчаянно безнадежной любви к родине стихотворение «Расстрел»!

Ярослав Смеляков, три раза сидевший в сталинское время, вряд ли читал запрещенного в СССР Набокова. Однако в лагерях он слышал историю князя Святополка-Мирского, вернувшегося на родину и здесь расстрелянного, и написал стихи, заканчивающиеся так:

Но лучше уж русскую пулю
В затылок себе получить.
По-моему, это не лучше, а еще страшнее.

Когда Белла Ахмадулина навестила Набокова в Швейцарии перед его смертью, он сказал:

– А жаль, что я не остался в России, уехал.

Жена Набокова немедленно возразила:

– Но ведь тебя наверняка бы там сгноили в лагерях.

И вдруг Набоков покачал головой:

– Кто знает, может быть, я выжил бы. Зато потом я стал бы совсем другим писателем, и, может быть, гораздо лучше...

А уж о своей посмертной судьбе он написал без сомнений:

...тень русской ветки
будет колебаться
на мраморе моей руки.

А в доме на Морской
всё тот же мальчик ходит
и с немирской тоской
взгляд с бабочек не сводит
на изразцах печи,
чьи стены горячи,
чьи выюшки песнь заводят:
«Запоминай. Молчи».

Как он сюда попал?
Он с облака упал?
Он всё запоминает
и лишь одно он знает –
теперь-то он пропал...

О, как внутри сачка
жизнь-бабочка сочна.
Она еще живая
и бьетса, жить желая,
да вот обречена...

У бывших палачей,
наверно, перекур,
и вновь не спит ночей
воскресший Петербург.

А в Зимнем нет царя,
и столько же нет,
и натирают зря
лоснящийся паркет.

Лишь в доме на Морской
всё тот же мальчик ходит,
а слон – большой такой –
протягивает хобот,
чтоб вытянуть его
в раскрытое окно,
где бабочек полно.

И если в сердце страсть,
то главный приз таков,
что можно не пропасть
и среди призраков.

И в доме на Морской
всё тот же мальчик ходит
и с немирской тоской
взгляд с бабочек не сводит.

Евгений ЕВТУШЕНКО